КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ



#эксмодетство

Сказки русских писателей

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Всеволод Михайлович Гаршин, Максим Горький, Сергей Тимофеевич Аксаков, Павел Петрович Бажов, Антоний Погорельский, Владимир Фёдорович Одоевский, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Аннотация
Сказки русских писателей
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
  Серая Шейка
Одоевский Владимир Фёдорович
  Городок в табакерке
Бажов Павел Петрович
  Про Великого Полоза
  Серебряное копытце
Гаршин Всеволод Михайлович
  Лягушка-путешественница
  Сказка о жабе и розе
Максим Горький
  Про Иванушку-дурачка

Случай с Евсейкой

Воробьишко

Аксаков Сергей Тимофеевич

Аленький цветочек. (сказка ключницы Пелагеи)

Антоний Погорельский

Чёрная курица, или Подземные жители

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Премудрый пискарь

Вклейка

Аннотация

В книге представлены авторские сказки, вошедшие в золотой фонд русской литературы. Сборник поможет школьникам познакомиться с многогранностью жанра сказки, расширить словарный запас и получить пример высокого нравственного поведения. Произведения входят в школьную программу. Книга может быть использована для внеклассного и школьного чтения.

Сказки русских писателей

© Бажов П.П., наследники, текст, 2023
© Оформление, ООО «Издательство „Эксмо“», 2023





Мамин-Сибиряк Дмитрий Нарки-сович

Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч вёрст… Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей — вообще было о чём серьёзно подумать.

Серьёзная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа…

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В своё время все улетим… Не понимаю, о чём тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и большего ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась.

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси и лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу… Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да… А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом… Смотреть на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки… Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим

выводком. Вообще моё правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват…

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинёшенька. Да, совсем одна… Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть… Ведь она наша дочь, и как я её люблю, мою Серую

Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе…

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет — жаль, конечно, а всё-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая Утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивала

Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернёмся, моя дорогая… И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьёшься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это далеко отсюда… Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас… — повторяла бедная Серая Шейка. — Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки… Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время… Был уже целый

ряд холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелётной птицы… Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небо журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. Умные вожаки сначала

обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости… Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться… Пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело… Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замёрзнет целую зиму…

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая… Да, все были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть

другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела…»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое — и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд таял.

«Неужели вся река замёрзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про неё? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки

и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла… И зачем ты толчёшься здесь? Ведь все утки давно улетели…

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я ещё была совсем маленькой…

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается… Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает…

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу от страха… У меня — кругом враги. Летом ещё можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные

ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать её льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая, звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днём, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса — это была та самая лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались… Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на

меня и свалят… Пока — до свидания!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придёт.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка… Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива…

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде,

потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка… Вылезай на лёд! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам…

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем… Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса… Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест её Лиса…

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего

логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, тёплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы!– рассердился старичок.– Вот ужо я вас… Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же ей… А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то по-хитрее будет… А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать…

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! —

думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую…

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт — так и ползёт, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползёт… Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется… Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике.

Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развёл руками — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная

Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну и хитёр зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе… Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел… А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено…

— Ах, глупая, глупая… Да ведь ты замёрзнешь тут или Лиса тебя съест! Да…

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются… А весной ты старухе яичек нанесёшь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот тот-то, глупая…

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются…»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замёрзнет.

Одоевский Владимир Фёдорович

Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, — и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городок? — спросил Миша.

— Это городок Динь-Динь, — отвечал папенька и тронул пружинку…

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко

выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…

— Право, мой друг, там и без тебя тесно.

— Да кто же там живёт?

— Кто там живёт? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса… Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками?» — спрашивал

Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

— Извольте, с величайшею радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

— Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я

имею честь говорить?

— Динь-динь-динь, — отвечал незнакомец, — я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение, — сказал ему Миша, — но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, — там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

— Динь-динь-динь! — отвечал мальчик. — Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.

— Отчего это? — спросил он своего проводника.

— Динь-динь-динь! — отвечал проводник смеясь, — издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое.

— Да, это правда, — отвечал Миша, — я до сих пор не подумал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что

фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

— Уж у нас поговорка такая, — отвечал мальчик-колокольчик.

— Поговорка? — заметил Миша. — А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними ещё дверцы; они отворились,

и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вокруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкой сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много, и все мал мала меньше.

— Нет, теперь уж меня не обманут, — сказал Миша. — Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинаковые.

— Ан вот и неправда, — отвечал провожатый, — колокольчики не одинаковые. Если бы все были одинаковые, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели,

прыгали, бегали.

— Весело вы живёте, — сказал им Миша, — век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.

— Динь-динь-динь! — закричали колокольчики. — Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

— Да, — отвечал Миша, — вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую

игрушку примешься — всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

— Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

— Какие же дядьки? — спросил Миша.

— Дядьки-молоточки, — отвечали колокольчики, — уж какие злые! То и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «Тук-тук-тук! тук-тук-тук! Поднимай! Задевай! Тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

— Какой это у вас надзиратель? — спросил Ми-

ша у колокольчиков.

— А это господин Валик, — зазвенели они, — предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:

— Шуры-муры! кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!

— Это я, — храбро отвечал Миша, — я — Миша…

— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.

— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…

— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь на́больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на

диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…

— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша. — Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! — думаю я. — Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошёл далее — и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою: наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

— Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

— Зиц-зиц-зиц, — отвечала царевна. — Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы ко-

локольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком — и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и… проснулся.

— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? — спрашивал Миша. — Так это был сон?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось!

— Да видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерке растворилась… — Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

— Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.

Бажов Павел Петрович

Про Великого Полоза[1]

Жил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горе держали, на Гумёшках[2] то есть. Медь добывал. Так под землёй все молодые годы и провёл. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное — гора[3]. Сырость, потёмки, дух тяжёлый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился[4] перевести Левонтия на другую работу,– на Поскакуху[5] отправил, на казённый прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко[6] уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел,

---

[1] Примечания: 1

Полоз — большая змея. Среди натуралистов, сколько известно, нет полной договорённости о существовании полоза на Урале, зато у кладоискателей полоз неизменно фигурирует как хранитель золота.

[2] Примечания: 2

Гумёшки — Гумёшевский рудник.

[3] Примечания: 3

Медная гора, или просто Гора — вблизи Полевского завода. Одно из наиболее полно описанных мест со следами древних разработок, богатейшее месторождение углекислой меди (малахита).

[4] Примечания: 4

Удобриться — стать добрым, ласковым (чаще притворно).

[5] Примечания: 5
Поскакуха — один из действовавших владельческих приисков.

[6] Примечания: 6
Шибко — сильно, очень.

да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, — говорит, — на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.

Это в ту пору так делывали. Изробится[7] человек, никуда его не надо, ну, и отпустят на вольную работу.

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошёл стараться, золото добывать. Привычное дело с землёй-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался[8], добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, ребятушки, пойдём, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживём без милостины.

А ребятишки у него вовсе ещё маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.

Вот и пошли наши вольные старатели. Отец

---

[7] Примечания: 7

Изробиться — выбиться из сил от непосильной работы, потерять силу, стать инвалидом.

[8] Примечания: 8

Расстараться — достать, добыть, найти.

еле ноги передвигает, а ребятишки — мал мала меньше — за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке[9] верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счёт просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство[10] было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать[11]. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами всё больше тайным купцам стуряли[12]. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а

---

[9] Примечания: 9
Рябиновка — речка, приток Чусовой.

[10] Примечания: 10
Мошенство — мошенничество, жульничество, обман.

[11] Примечания: 11
Не оказывать — не показывать.

[12] Примечания: 12
Стурять — сдавать, сбывать (поспешно).

те опять её. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.

Левонтию, однако, не потаили — сказали честь-честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.

Пришёл это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Всё ж таки стараются. Поробили как-то с неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходится[13]. Как быть? А самому всё хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру итти и на ребятишек сумки надевать[14]. Пошёл в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам наказал:

— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперёд ни к чему нам.

Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надёргал пескоз-

---

[13] Примечания: 13

На хлеб не сходится — не стоит работы.

[14] Примечания: 14

Сумки надевать — дойти или довести семью до сбора подаяния, до нищенства.

обишков[15], окунишков, и давай они ушку себе гоношить[16]. Костёр запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят — идёт старик, заводской же. Семёнычем его звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером[17] значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную[18] отправить — пороть, значит. А этот Семёныч не стал даваться, рожи которым покарябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, всё ж таки обломал. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семёныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришёл в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка

---

[15] Примечания: 15
Пескозоб — пескарь.

[16] Примечания: 16
Гоношить — готовить.

[17] Примечания: 17
Кричный мастер — этим словом не только определялась профессия, но и атлетическое сложение и большая физическая сила. Кричный подмастерье был всегда синонимом молодого сильного человека, которого ставили к опытному, но уже старому мастеру, потерявшему силу.

[18] Примечания: 18
Пожарна — она же машина — в сказах упоминается как место, где производилось истязание рабочих. Пожарники фигурируют как палачи.

заколочена стояла. Хотели уж её разбирать. Шибко некорыстна[19] была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живёт потихоньку, один-одинёшенек. Только стали соседи замечать — неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ими сидит. Думали — может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал. «Не знаю,– говорит,– этого дела. И какое тут может лечение быть, коли такая ваша работа». Думали — может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о Пасхе да о Рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то живёт. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее[20] имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживёшь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад даёт, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придёт:

— Возьми-ка, Иван или там Михаило, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь. — Однем словом, чудной

[19] Примечания: 19
Некорыстный — нестоящий, плохой.

[20] Примечания: 20
Немудрящее — немудренькое, плохонькое, малостоящее.

старик. Чёртознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошёл этот Семёныч, поздоровался. Ребята радёхоньки, зовут его к себе:

— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.

Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать — до чего-де навариста да вкусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал[21] и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-то, а Семёныч одно своё[22] — ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает:

— Давно так-то не едал.

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему всё по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семёныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо да охо-хо. Под конец спросил:

— Сколь намыли?

---

[21] Примечания: 21
Порушать — разрезать хлеб ломтями.

[22] Примечания: 22
Одно своё — повторяет сказанное, стоит на своём.

Ребята говорят:

— Золотник[23], а может, поболе — так тятенька сказывал.

Старик встал и говорит:

— Ну ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то… — и Семёныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семёныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:

— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь, а я схожу — покучусь[24] кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то всё дело пропадёт. Помните это хорошенько.

И вот ушёл старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:

— Смотри, братко, не забудь, чтобы не боять-ся, — а у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает:

— Я, братко, не боюсь,– а сам помучнел[25] весь.

---

[23] Примечания: 23

Золотник — старая мера аптекарского веса; 4,1 грамма.

[24] Примечания: 24

Покучиться — опросить, выпросить.

[25] Примечания: 25

Помучнеть — побледнеть.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно[26] времечка, а никого нет, у ребят испуг и отбежал. Навалили они в костёр хвои, ещё веселее стало. Вдруг слышат — в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-то Семёныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ём, штаны — всё жёлтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи[27], а поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка жёлтая, а справа и слева красные зазорины[28], и сапожки тоже красные. Лицо жёлтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнёшь их. Только глаза зелёные и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семёныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля

---

[26] Примечания: 26
Дивно, дивненько — много, многонько.

[27] Примечания: 27
Парча — ткань с серебряной или золотой ниткой.

[28] Примечания: 28
Зазорина — видная из вырезов или прорезей материя другого цвета.

вдавилась. Ребятам всё это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семёнычу шуткой так:

— Это вольны-то старатели? Что найдут, всё заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семёнычу, как советует с им:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?

Семёныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошие, а тот опять своё:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за моё охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семёныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство — тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семёнычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько.

Замечайте, куда след пойдёт. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — всё это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово[29] преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костёр, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костёр-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошёл змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замёрзла по ту и по другую сторону. Змей перешёл на другой берег, дотянулся до старой берёзы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто всё ещё озябла, как иней её

---

[29] Примечания: 29
Тулово — туловище.

прихватил.

Семёныч и объяснил ребятам:

— Это есть Великий Полоз. Всё золото в его власти. Где он пройдёт — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле, и под землёй, как ему надо, и места может окружить, сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвёл золото. А то вот ещё… Найдут старатели хорошее, россыпное золото, ну, и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну[30] это место берём, сами добывать будем. Навезут это — машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывала. Это Полоз окружил всё то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось всё по его-то кольцу. Попробуй, найди, где он лежал. Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет ещё когда,

---

[30] Примечания: 30

Казна — употребляется это слово не только в смысле — государственные средства, но и как владельческие по отношению к отдельным рабочим.

вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то всё испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:

— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?

Другой ему:

— А ты видел?

Договорились всё ж таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать, и стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:

— Надо за Рябиновкой у берёзы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.

Младший уговаривает:

— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошёл за Рябиновкой. Тут всё и откроется.

Поспорили так-то, пожалели, что Семёныча нет, посоветовать не с кем, да углядели — как раз по серёдке вчерашнего огневища воткнут берёзовый колышек.

«Не иначе, это Семёныч нам знак оставил», — подумали ребята и стали на том месте копать.

И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки[31] залетели, да и песок пошёл не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.

---

[31] Примечания: 31

Жужелка — название мелких самородков золота.

Серебряное копытце

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Кокована не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей — не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми её.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я её учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григорья да и жену его тоже. Оба весёлые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдёт, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму её.

Только пойдёт ли? Соседи объясняют:

— Плохое житьё у неё. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят.

Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает её куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдёт от такого житья! Да и уговоришь, поди-ка.

— И то правда, — отвечает Кокованя, — уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришёл он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике[32], у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас Григорьева-то подарёнка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так ещё кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да ещё корми её!

Кокованя и говорит:

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.

---

[32] Примечания: 32

Голбец — подполье; рундук около печки, где делается ход в подполье, обычно зовётся голбчик.

Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну как, подарёнушка, пойдёшь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Дарёнкой зовут?

— Да так, — отвечает, — само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка.

— Я, — говорит, — вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю да всё увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет, — отвечает Кокованя. — Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдёшь ко мне жить, так всё и расскажу, — ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик весёлый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Мурёнку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это, — отвечает Кокованя, — что и гово-

рить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радёхонька, что Кокованя сиротку к себе зовёт. Стала скорей Дарёнкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трётся у ног-то да мурлычет:

— Пр-равильно придумал. Пр-равильно.

Вот и повёл Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Дарёнка да кошка Мурёнка.

Жили-поживали, добра много не наживали, а на житьё не плакались, и у всякого дело было. Кокованя с утра на работу уходил. Дарёнка в избе прибирала, похлёбку да кашу варила, а кошка Мурёнка на охоту ходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать, Дарёнка любила те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет:

— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.

Только после всякой сказки Дарёнка напомнит:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козёл особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Дарёнки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козёл не выше стола, ножки тоненькие, головка лёгонькая. А Дарёнка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шёрстка у него какая?

— Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у Мурёнки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козёл, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасётся. Дарёнка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберёшь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Дарёнка дома, а Кокованя в лес ушёл. Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Дарёнке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасётся. Туда и пойду зимой.

— А как же, — спрашивает Дарёнка, — зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у

покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Дарёнка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасётся?

— Кто его знает. Может, и он там.

Дарёнка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдёт — я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замёрзнешь ещё!

Только Дарёнка никак не отстаёт:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».

Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя на ручные санки

сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да ещё верёвку.

«Нельзя ли, — думает, — этой верёвкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Дарёнке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней:

— Мы, Мурёнка, с дедом в лес пойдём, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда всё расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Дарёнкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повёл!

Как стали Кокованя с Дарёнкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись — а это Мурёнка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Мурёнка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и

подступиться не смеют.

Хотела Дарёнка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Мурёнка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Дарёнка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят — Мурёнка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое.

Дарёнка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Мурёнка свернулась клубочком у печки в звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Дарёнку с кошкой в лесу оставить! А Дарёнка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьев-

на. Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то.

— Чего, — отвечает, — бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Мурёнка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся всё-таки!

Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал… Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит — Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козёл бежит. Ножки тоненькие, головка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Мурёнка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Дарёнка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошёл. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Дарёнке, а не плачет. Гладит Мурёнку да приговаривает:

— Не скучай, Мурёнушка! Завтра дедо непременно придёт.

Мурёнка свою песенку поёт:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Дарёнушка у окошка, полюбовалась на звёзды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошёл. Испугалась Дарёнка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом где дверка, а там и сверху запостукивало. Не громко, будто кто лёгонький да быстрый ходит. Дарёнка и думает: «Не козёл ли тот вчерашний прибежал?»

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит.

Отворила дверку, глядит, а козёл — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Дарёнка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козёл на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Дарёнушка в балаган, рассказывает Мурёнке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Мурёнка, знай, свою песенку поёт:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошёл, а всё Коковани нет. Вовсе затуманилась Дарёнка. Слёзки запокапывали. Хотела с Мурёнкой поговорить, а её нету. Тут вовсе испугалась Дарёнушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Дарёнка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козёл. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить. Мурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается

разными огнями. Наверху козёл стоит — и всё бьёт да бьёт серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Мурёнка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Мурёнки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагрёб, да Дарёнка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днём ещё на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагрёб.

Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. Больше её так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз — и будет.

А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали. Зелёненькие больше. Хризолитами называются. Видали?

Гаршин Всеволод Михайлович

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-путешественница. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают — на это есть весна, — и что, заквакав, она может уронить своё лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: ко-

гда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью — раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами стая таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них. — Лететь ещё далеко: надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть её, большую и толстую квакушку, но всё-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка, — уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка. — Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не

пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! Целые тучи! — ответила утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

— Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! Кря! Кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять ми-

нут, — сказала лягушка, — я сейчас вернусь, я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась её морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и лёгкую лягушку три тысячи вёрст не бог знает какое удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести её. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да ещё столько, да полстолько, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести её приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки

взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось в воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую её подняли; кроме того, утки летели неровно и дёргали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-таки видела и радовалась и гордилась. «Вот как я превосходно придумала», — думала она про себя.

А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и хвалили её.

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорили они. — Даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, ещё крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: нёсшие её утки переменялись на

лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне. — Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у неё прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые. — Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне. — Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным всплеском местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали пока-

зываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные тёплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте, — сказала она. — Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её.

Сказка о жабе и розе

Жили на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде четырёхгранных пик, когда-то выкрашенная зелёной масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали та-

ких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться её тёмною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в её тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая

проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет

семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собой книжку.

— Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? — спрашивает из окна сестра. — Может быть, ты с ним побегаешь?

— Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам — травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках

трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится, — громко сказала сестра.

И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверёк ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему.

Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

— Маша! — вдруг шепчет он сестре.

— Что, милый?

— Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щёку и при этом незаметно стирает слезинку.

— Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

— Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал.

Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребёнка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Её заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

— Постой, — прохрипела она, — я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились

куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших её своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе.

— Я тебя слопаю! — повторила она, всё глядя на цветок.

И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

— Господи! — молилась она. — Хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Тёмно-зелёная гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба перекололa себе о них лапы и брюхо и, окровав-

ленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок…

— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от жёлтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это была

и правда. Она не видела, как её враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх — и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает…

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала развёрнутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша, — вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовёт её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мне сказала, что розы расцвели!

Можно мне… одну?

— Можно, голубчик, можно! — Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

— Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане? Да?

— Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

— Ах, какая гадость! — вскрикнула она.

И, схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и шлёпнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худень-

кой рукой.

— Дай её мне, — прошептал он. — Я понюхаю.

Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

— Ах, как хорошо…

Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал… навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне.

Потому-то я и знаю всю эту историю.

Максим Горький

Про Иванушку-дурачка

Жил был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё смешно выходит, — не так как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке:

— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

— А чем? — спрашивает Иванушка.

— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари — будет похлёбка!

Мужик приказывает:

— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади них и говорит:

— Ну вот, я гляжу за вами!

Посидели дети некоторое время на полу — запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в неё полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:

— А кого крошить надо?

Услыхали дети — испугались:

— Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок — соображает: «Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!»

Заглянул в кадушку и говорит:

— Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл в лес; вдруг навстречу ему Медведь шагает — удивился, рычит:

— Эй, ты, зачем дерево в лес несёшь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, — Медведь сел на задние лапы и хохочет:

— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

А Иванушка говорит:

— Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бегали!

Медведь ещё сильней смеётся, так и катается по земле со смеху!

— Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя жене своей покажу!

Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью за сосны задевает.

— Да брось ты её! — говорит Медведь.

— Нет, я своему слову верен: обещал стеречь, так уж устерегу!

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!

А Иванушка спрашивает Медведицу:

— Тётя, не видала ребятишек?

— Мои — дома, спят.

— Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему Медведица трёх медвежат; он говорит:

— Не эти, у меня двое было.

Тут и Медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:

— Да ведь у тебя человечьи дети были!

— Ну да, — сказал Иванушка, — разберёшь их, маленьких-то, какие чьи!

— Вот забавный! — удивилась Медведица и говорит мужу: — Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живёт!

— Ладно, — согласился Медведь, — он хоть и человек, да уж больно безобидный!

Дала Медведица Иванушке лукошко, приказывает:

— Поди-ка набери малины лесной, — детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!

— Ладно, это я могу! — сказал Иванушка. — А вы дверь постерегите!

Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идёт назад к медведям и поёт во всё горло:

Эх, как неловки
Божии коровки!
То ли дело – муравьи
Или ящерицы!

Пришёл в берлогу, кричит:

— Вот она, малина!

Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются, — очень рады!

А Иванушка, глядя на них, говорит:

— Эх-ма, жаль, что я не Медведь, а то и у меня дети были бы!

Медведь с женой хохочут.

— Ой, батюшки мои! — рычит Медведь, — да с ним жить нельзя, со смеху помрёшь!

— Вот что, — говорит Иванушка, — вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!

А Медведица просит мужа:

— Миша, ты бы помог ему!

— Надо помочь, — согласился Медведь, — уж

очень он смешной!

Пошёл Медведь с Иванушкой лесными тропами, идут — разговаривают по-приятельски.

— Ну и глупый же ты! — удивляется Медведь, а Иванушка спрашивает его:

— А ты — умный?

— Я-то?

— Ну да!

— Не знаю.

— И я не знаю. Ты — злой?

— Нет. Зачем?

— А по-моему — кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем!

— Ишь ты, как вывел! — удивился Медведь.

Вдруг видят: сидят под кустом двое детей, уснули.

Медведь спрашивает:

— Это твои, что ли?

— Не знаю, — говорит Иванушка, — надо их спросить. Мои — есть хотели.

Разбудили детей, спрашивают:

— Хотите есть?

Те кричат:

— Давно хотим!

— Ну, — сказал Иванушка, — значит, это и есть

мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне ещё надобно похлёбку варить!

— Уж ладно! — сказал Медведь. — Принесу!

Идёт Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано, а сам поёт:

Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца,
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!

Пришёл в избу, а уж хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала, — сели они на лавку и плачут горько.

— О чём плачете? — спросил их Иванушка.

Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

— Это чего ты наделал?

— Похлёбку!

— Да разве так надо?

— А я почём знаю — как?

— А дверь куда девалась?

— Сейчас её принесут — вот она!

Выглянули хозяева в окно, а по улице идёт Медведь, дверь тащит, народ от него во все стороны бежит, на крыши лезут, на деревья; собаки испугались — завязли со страху в плетнях, под воротами; только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на Медведя:

— Кину в реку-у!..

Случай с Евсейкой

Однажды маленький мальчик Евсейка — очень хороший человек! — сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. А день был жаркий: стал Евсейка со скуки дремать и — бултых! — свалился в воду.

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг — очень хорошо!

Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над её тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил:

Дом – не тележка у дядюшки Якова…

И вдруг слышит над головою у него точно кларнет запищал:

— Вы кто такой?

Смотрит — над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно её уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.

— Это вы говорите? — спросил Евсейка.

— Я-а…

Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

— Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!

А сам думает: «Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него разноцветная игривая рыбёшка и — смеётся, разговаривает:

— Глядите-ка! Вот чудище приплыло: два хвоста!

— Чешуи — нет, фи!

— И плавников только два!

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся:

— Хорош-хорош!

Евсейка обиделся: «Вот нахалки! Будто не понимают, что перед ними настоящий человек…»

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака:

Под камнями рак живёт,
Рыбий хвостик рак жуёт.
Рыбий хвостик очень сух,
Рак не знает вкуса мух.

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

— Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!

«Серьёзный какой», — подумал Евсейка.

Большая же рыба пристаёт к нему:

— Откуда это вы взяли, что все рыбы — немые?

— Папа сказал.

— Что такое — папа?

— Так себе… Вроде меня, только — побольше, и усы у него. Если не сердится, то очень милый…

— А он рыбу ест?

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест!

Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце в нём, жёлтое, как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду:

— Нет, он не ест рыбы, костлявая очень…

— Однако — какое невежество! — обиженно вскричала рыба. — Не все же мы костлявые! На-

пример — моё семейство…

«Надо переменить разговор», — сообразил Евсей и вежливо спрашивает:

— Вы бывали у нас наверху?

— Очень нужно! — сердито фыркнула рыба. — Там дышать нечем…

— Зато — мухи какие…

Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит:

— Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли?

«Ну, начинается! — подумал Евсейка. — Съест она меня, дура!..»

И, будто бы беззаботно, ответил:

— Так себе, гуляю…

— Гм? — снова фыркнула рыба. — А может быть, вы — уже утопленник?

— Вот ещё! — обиженно крикнул мальчик. — Нисколько даже. Я вот сейчас встану и…

Попробовал встать, а не может, точно его тяжёлым одеялом окутали — ни поворотиться, ни пошевелиться!

«Сейчас я начну плакать», — подумал он, но тотчас же сообразил, что плачь не плачь, в воде слёз не видно, и решил, что не стоит плакать, — может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.

А вокруг — господи! — собралось разных морских жителей — числа нет!

На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросёнка, и шипит:

— Желаю с вами познакомиться поближе…

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит — укоряет Евсейку:

— Хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!

— Погодите, я, может, ещё авиатором буду, — говорит ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает:

— Позвольте узнать, который час?

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок: везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое — тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки — запутались в волосах и дёргают их.

«Ой, ой, ой!» — воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мамаша сердится на него.

А вокруг в воде повисли рыбы — множество! — поводят тихонько плавниками и, вытаращив на

мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бормочут:

Как он может жить на свете
без усов и чешуи?
Мы бы, рыбы, не могли бы
раздвоить хвосты свои!
Не похож он ни на рака, ни на нас —
весьма во многом!
Не родня ли это чудо
безобразным осьминогам?

«Дуры! — обиженно думает Евсейка. — У меня по русскому языку в прошлом году две четвёрки было...»

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, — но — оказалось — нельзя: вода лезет в рот, точно пробка.

А болтливая рыба всё спрашивает его:

— Нравится вам у нас?

— Нет... то есть — да, нравится!.. У меня дома... тоже очень хорошо, — ответил Евсей и снова испугался:

«Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть...»

Но вслух говорит:

— А давайте… Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно…

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит:

— Это хорошо — поиграть! Это очень хорошо — поиграть!

— Поплывёмте наверх! — предложил Евсей.

— Зачем? — спросила рыба.

— А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, — мухи.

— Мух-хи! Вы их любите?

Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил:

— Да…

— Ну что ж? Поплывём! — сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цап её за жабры и кричит:

— Я — готов!

— Стойте! Вы, чудище, слишком засунули свои лапы в жабры мне…

— Ничего!

— Как это — ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша.

— Господи! — вскричал мальчик. — Ну что вы

спорите всё? Играть так играть…

А сам думает: «Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уже я вынырну».

Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь:

Плавниками трепеща,
И зубаста да тоща,
Пищи на обед ища,
Ходит щука вкруг леща!

Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут:

Вот так штука!
Тщетно тщится щука
Ущемить леща!
Вот так это – штука!

Плыли, плыли, чем выше — тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух.

— Ой!

Смотрит — ясный день, солнце играет на воде, зелёная вода заплёскивает на берег, шумит, поёт. Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого

свалился, и уже весь сухой!

— Ух! — сказал он, улыбаясь солнцу, — вот я и вынырнул.

Воробьишко

У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всём говорят, как в книжках написано, а молодёжь — живёт своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде из пакли, мохо-винок и других мягких материалов. Летать он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать, что такое божий мир и годится ли он для него?

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив, чив!

А Пудик глотал букашек и думал:

«Чем чванятся — червяка с ножками дали

— чудо!» И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри — чебурахнешься!

— Чем, чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадёшь на землю, кошка — чик! и — слопает! — объяснял отец, улетая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились. Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что, что?

— Ветер. Дунет он на тебя — чирк! и сбросит на землю — кошке! — объяснила мать.

Это не понравилось Пудику, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет…

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил — он любил объяснять всё по-своему. Идёт мимо бани мужик, машет руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик, — одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьиха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек…

— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме; он ещё не знал, что, если маме не верить, это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка — рыжая, зелёные глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь…

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у неё дыбом встали — страшная, храбрая, клюв

раскрыла — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети…

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями — раз, раз и — на окне!

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них — рыжая, зелёные глаза — и сожалительно мяукает:

— Мя-аконький такой воробушек, словно мышка… мя-увы…

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста…

Аксаков Сергей Тимофеевич

Аленький цветочек
(сказка ключницы Пелагеи)

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камней, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

— Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли

времени проезжу — не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется.

Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов чёрного соболя да жемчуга бурмицкого[33], а привези ты мне золотой венец из камней самоцветных[34], и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от них светло в тёмную ночь, как среди дня белого.

Честной купец призадумался и сказал потом:

— Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такого человека, который достанет мне

---

[33] Примечания: 33

Жемчуг бурмицкий — крупный круглый жемчуг.

[34] Примечания: 34

Самоцветные камни — драгоценные камни, красные (рубины), синие или голубые (сапфиры).

таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет[35].

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золотого венца самоцветного, а привези ты мне тувалет[36] из хрусталю восточного, цельного, беспорочного[37], чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася.

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

— Хорошо, дочь моя милая, хорошая и приго-

---

[35] Примечания: 35

...да для моей казны супротивного нет — достаточно денег, чтобы всё выкупить.

[36] Примечания: 36

Тувалет — туалет, зеркало.

[37] Примечания: 37

Беспорочный — без повреждений, трещин, без изъяна.

жая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажен, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь, с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне такой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет.

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит такое слово:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете.

Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает,

приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит такие слова:

— Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных; коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи.

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продаёт он свои товары втридорога, покупает чужие втридёшева; он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота, золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в тёмную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей середней дочери: тувалет хрустальный, а в нём видна красота поднебесная, и, смотрясь в него,

девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери — аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не даёт, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам того не думает.

Вот едет он путём-дорогою, со своими слугами верными, по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и откуда ни возьмись налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в тёмны леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену, во неволе».

Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идёт, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить,

смотрит налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам всё идёт да идёт: у него под ногами дорога торная. Идёт он день от утра до вечера, не слышит он рёву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него всё повымерло. Вот пришла и тёмная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько. Вот идёт он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди словно будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую?»

Поворотил он назад — нельзя идти, направо, налево — нельзя идти; сунулся вперёд — дорога торная. «Дай постою на одном месте — может, зарево пойдёт в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».

Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идёт, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперёд. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошёл вперёд. Чем дальше идёт, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит

он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог[38], а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в камнях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, и тяжело на него глазом смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нём музыка согласная, какой никогда он не слыхивал.

Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворённые; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном[39], с перилами позолоченными; вошёл в горницу — нет никого, в другую, в третью — нет никого; в пятую, десятую — нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не умолкаючи; и подумал он в те поры про себя:

---

[38] Примечания: 38

Чертог — красивый, пышно убранный дом.

[39] Примечания: 39

Кармазинное сукно — тонкое ярко-красное сукно.

«Всё хорошо, да есть нечего», — и вырос перед ним стол, убранный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сомнения; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, — того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи.

Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» — и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого, лебяжьего.

Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задёргивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шёлковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне

увидать!» — и заснул в ту ж минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и середнюю, что они веселым-веселёхоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и середней дочери есть женихи богатые и что сбираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь, любимая, красавица писаная, о женихах и слушать не хочет, покуда не воротится её родимый батюшка; и стало у него на душе и радостно, и нерадостно.

Встал он с кровати высокой, платье ему всё приготовлено, и фонтан воды бьёт в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Всё показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворённые, что кругом разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной.

Захотелось ему по тем садам прогуляться.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зелёного, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда[40] глядя на них слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные, словно по бархату зелёному и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, глядеть на их вышину — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.

Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходит он так много ли, мало ли времени — неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зелёном цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему

---

[40] Примечания: 40
И н д а — даже.

саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:

— Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая.

И, проговорив таковы слова, он подошёл и сорвал аленький цветочек. В ту ж минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, земля зашаталась под ногами — и вырос, как будто из-под земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так, какое-то чудовище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:

— Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моём саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока[41] моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за моё добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..

И несчётное число голосов диких со всех сторон завопило:

— Умереть тебе смертью безвременною!

---

[41] Примечания: 41

Хранить паче зеницы ока — хранить больше чем зрачок глаза.

У честного купца от страха зуб на зуб не приходил; он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из-под воды, из-под земли лезет к нему сила нечистая и несметная, всё страшилища безобразные. Он упал на колени перед набольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:

— Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как величать тебя — не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери-красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезти: старшей дочери — самоцветный венец, середней дочери — тувалет хрустальный, а меньшой дочери — аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду — аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину богатому-богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне,

неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родным и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь.

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

— Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчётною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлёшь вместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моём. Стало скучно мне жить, одинокому, и хочу я залучить себе товарища.

Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и

возговорит он голосом жалобным:

— Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путём до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю.

Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

— Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать кто мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи.

Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им своё родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому, и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной,

чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной[42] не взял, а снял со своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.

И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки[43] шёлковые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшой сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаённая. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:

— Мне богатства твои не надобны; богатство дело наживное, а открой ты мне своё горе сердешное.

---

[42] Примечания: 42
Запись заручная — расписка.

[43] Примечания: 43
Ширинка — полотенце, отрез ткани во всю ширину её.

И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:

— Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрешний день, а сегодня будем веселиться.

Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского[44], на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достаёт гостинец середней дочери, тувалет хрусталю восточного, достаёт гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце её что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:

— Что же, дочь моя милая, любимая, не берёшь ты своего цветика желанного? Краше его нет на белом свете!

Взяла дочь меньшая цветочек аленький ров-

[44] Примечания: 44

Золото аравийское — восточное, привезённое из Аравии, полуострова, расположенного между Персидским заливом, Аравийским и Красным морями.

но нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные[45], за яства сахарные, за питья медвяные; стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться.

Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали.

Наутро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей всё, что с ним приключилося, всё от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалася и говорит:

— Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.

---

[45] Примечания: 45
Скатерть браная — узорчатая.

Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей всё, что с ним приключилося, всё от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Середняя дочь наотрез отказалася и говорит:

— Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей всё рассказывать, всё от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:

— Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя.

Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:

— Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобой моё благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идёшь на житьё противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом;

да где тот дворец — никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему[46], ни птице перелётной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видя, ласковых речей твоих не слыша? Расстаюсь я с тобой на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню.

И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:

— Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый: житьё моё будет богатое, привольное; зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь, буду служить ему верой и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мёртвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе.

Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.

Прибегают сёстры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жаль меньшой сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берёт с собою цветочек аленький во кувшине

---

[46] Примечания: 46
Зверь прыскучий — дикий, быстрый зверь.

позолоченном.

Прошёл третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует её, горючими слезами обливает и кладёт на неё крестное благословение своё, родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери — и не стало её в ту ж минуточку со всеми её пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой[47], ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.

Встала она с постели пуховой и видит, что все её пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, разложены и расставлены на столах зелёных малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чём посидеть-полежать, есть во что при-

---

[47] Примечания: 47
Камка — шёлковая ткань с узорами.

одеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золочёная, а третья стена вся серебряная, а четвёртая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами разубранная; и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня»[48].

Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь её батюшка родимый. Взяла она из кувшина золочёного любимый цветочек аленький, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонилися; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые, и нашла она то место высокое, пригорок буравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золочёного и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук её и прирос к стеблю прежнему и

[48] Примечания: 48
Опочивальня — опочивальная, спальня.

расцвёл краше прежнего.

Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые, и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», — как на белой мраморной стене появилися слова огненные:

«Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и всё, что тебе пожелается, всё, что тебе на ум придёт, исполнять я буду с охотою».

Прочитала она слова огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным.

«Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце, у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словами огненными; и знает он всё, что у меня на мысли, и в ту ж минуту всё исполняет, и не хочет он

называться господином моим, а меня называет госпожой своей».

Не успела она письма написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз её, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, пития медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселёхонька, хотя сроду не обедала одна-одинёшенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше по той причине, чтоб ей спать не мешать.

После сна встала она веселёшенька и пошла опять гулять по садам зелёным, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.

После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене слова огненные,

и видит она на той же стене опять такие же слова огненные:

«Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?»

И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:

— Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый да милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за всё твоё угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зелёных садов не найти на белом свете: и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива ещё в себя не приду, только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.

Появилися на стене слова огненные:

«Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная[49], верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь, и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру подуть, не дадим и пылинке сесть».

---

[49] Примечания: 49

Девушка сенная — служила на посылках, находясь в сенях, в прихожей, перед барскими комнатами.

И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати её девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует её руки белые, обнимает её ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась её расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилося; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые богатые, а убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощения и веселья новые отменные: катанье, гулянье с музыкой на колесницах без коней и упряжи по тёмным лесам; а те леса перед ней расступалися и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматься, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а

и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уж не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все её повеления исполняют. И полюбила она своего господина милостивого, и видела она, что недаром он зовёт её госпожой своей и что любит он её пуще самого себя; и захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая слов огненных.

Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на её просьбу соглашается, испугать её своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словами огненными:

«Приходи сегодня во зелёный сад, сядь во свою

беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетённую, и скажи так: „Говори со мной, мой верный раб“».

И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зелёные, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетённую, и садилась на скамью парчёвую; и говорит она задыхаючись, бьётся сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит такие слова:

— Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рёва звериного; говори со мной, не опасаючись.

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он ещё вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день — во зелёном саду на

гуляньях, во тёмных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:

— Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?

Отвечает лесной зверь, чудо морское:

— Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг.

И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать её опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его всегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:

— Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. К голосу моему привыкла ты; мы

живём с тобой в дружбе, согласии, друг со другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски.

Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:

— Если ты стар человек — будь мне дедушка, если середович[50] — будь мне дядюшка, если молод ты — будь мне названый брат, и поколь я жива — будь мне сердечный друг.

Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово:

— Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твоё желание, хоть знаю, что погублю моё счастье и умру смертью безвременной. При-

---

[50] Примечания: 50
Середович — человек средних лет.

ходи во зелёный сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» — и покажу я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной: ты найдёшь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот-перстень. Надень его на правый мизинец — и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне никогда не услышишь.

Не убоялась, не устрашилася, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зелёный сад дожидаться часу урочного, и когда пришли сумерки серые, опустилось за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» — и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошёл только поперёк дороги и пропал в частых кустах; и не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо

рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.

Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле неё, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:

— Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слушати, и пришло мне умереть смертью безвременною.

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твёрдым:

— Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своём виде давешнем: я только впервые испугалася.

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своём виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи тёмной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая,

красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядев его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх её совсем прошёл. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучалися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуляли по зелёным садам, без коней каталися по тёмным лесам.

И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка её нездоров лежит, и напала на неё тоска неусыпная, и увидал её в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и очень закручинился и стал спрашивать, отчего она во тоске, во слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

— И зачем тебе моё позволение? Золот-перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я

скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу.

Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трёх дней и трёх ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот-перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идёт она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая[51], подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши её, диву дались красоте её девичьей и её наряду царскому, королевскому; подхватили её под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежит, нездоров и нерадостен, день и ночь её вспоминаючи, горючими слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте её девичьей, её наряду царскому, королевскому.

---

[51] Примечания: 51
Челядь дворовая — слуги, дворовые.

Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сёстрам старшим, любезным, про своё житьё-бытьё у зверя лесного, чуда морского, всё от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец её житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нём вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сёстрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть её царскую над своим господином, словно над рабом своим, завистно стало.

День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сёстры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему…» И прогневалась на сестёр старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:

— Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на рас-

терзание.

И отец её, честной купец, похвалил её за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сёстрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе: взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.

И когда пришёл настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать её, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие[52], немецкие, а всё равно ей пускаться в дальний путь. А сёстры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, позадерживают. Однако сердце её не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сёстрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела зо-

---

[52] Примечания: 52

Áглицкие (о часах) — английские.

лот-перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он её не встречает, закричала она громким голосом:

— Где же ты, мой добрый господин, верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой.

Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мёртвая; в зелёных садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она что-то недоброе; обежала она палаты высокие и сады зелёные, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета, и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый[53], где рос, красовался её любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, её дожидаючись, и спит теперь крепким сном.

---

[53] Примечания: 53

Пригорок муравчатый — поросший мелкой и сочной травой-муравой.

Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная, он не слышит; принялась будить покрепче, схватила она за лапу мохнатую — и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мёртв лежит…

Помутилися её очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:

— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного!..

И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой беломраморной, сидит она на золотом престоле с камнями драгоценными, и обнимает её принц молодой, красавец писаный, на голове с короною царскою, в одежде златокованной; перед ней стоит отец с сёстрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных.

И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове с короною царскою:

— Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, ещё малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силою нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила такое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдётся красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища, и пожелает быть моей женой законною — и тогда колдовство всё покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою

к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем.

Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Честной купец дал своё благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сёстры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные[54], и нимало не медля принялись весёлым пирком да за свадебку, стали жить да поживать, добра наживать.

[54] Примечания: 54

Кавалеры ратные — пожалованные орденами за воинскую службу; почётное название солдат вообще.

Антоний Погорельский

Чёрная курица, или Подземные жители

Лет сорок тому назад[55], в С.-Петербурге, на Васильевском острову[56], в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона[57], который ещё и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти; хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко ещё не был таким, каков теперь.

Тогда на проспектах Васильевского острова не было весёлых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост — узкий в то время и неровный — совсем иной представлял вид, неже-

---

[55] Примечания: 55

Лет сорок тому назад… — то есть в 80-х гг. XVIII в. Как известно, сказка написана в 1829 году.

[56] Примечания: 56

Васильевский остров — часть Петербурга, между Большой и Малой Невой. Линия — ряд домов на каждой стороне улицы.

[57] Примечания: 57

Мужской пансион — школа-интернат: воспитанники жили при школе.

ли как теперь; да и сама площадь Исаакиевская вовсе не такова была.

Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом; одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний.

Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее… впрочем, не о том теперь идёт дело. В другой раз и при другом случае, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, — теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острове, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже вам сказывал — вы не найдёте, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу… Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жильё, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находи-

лись в нижнем этаже по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которых каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого: настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного! Всё проходит, всё исчезает в бренном мире нашем… но не о том теперь идёт дело!

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алёша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперёд. Алёша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали; однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо[58] сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучён с родными своими; но потом мало-помалу он стал

[58] Примечания: 58
Особливо — особенно.

привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алёша горько чувствовал своё одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести — и библиотека, которою пользовался наш Алёша, большей частью состояла из книг сего рода.

Итак Алёша, будучи ещё в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки… Особенно в вакантное время[59], как, например, в Рождество

---

[59] Примечания: 59

Вакантное время — вакация, свободное от занятий время, каникулы.

или в Светлое Христово Воскресенье, — когда он бывал разлучён надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, — юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по тёмным дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделённый от переулка деревянным забором из барочных досок[60]. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игруш-

[60] Примечания: 60

Барочные доски — доски, шедшие на изготовление речных судов — барок.

ку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну чёрную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить; и потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время вакаций между Новым годом и Крещением — день был прекрасный и необыкновенно тёплый, не более трёх или четырёх градусов морозу) Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена

его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и ещё накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милютиных лавок киевское варенье. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажной резьбой нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал своё искусство над буклями[61], тупеем[62] и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон[63] и взгромоздил на её голове целую оранжерею[64] разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещённые два бриллиантовых перст-

---

[61] Примечания: 61

Букли — волнистые завитки волос, локоны.

[62] Примечания: 62

Тупей — взбитый хохол на голове.

[63] Примечания: 63

Шиньон — женская причёска, как правило, из пришпиленных чужих волос.

[64] Примечания: 64

Оранжерея — здесь: множество цветов.

ня, когда-то подаренные мужу её родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп[65] и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась причёска; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого причёска не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошёл сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая чухонка; но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что время от времени уменьшалось число его курочек, он ещё менее стал её любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне

[65] Примечания: 65
Салоп — широкое дамское пальто.

одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев её теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алёша, Алёша! Помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка, но Алёша принялся бежать ещё пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слёзки одна за другой выкатывались из его глаз и падали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нём сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: цып, цып, цып! — то бранила их по-чухонски.

Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилось… ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Кудах, кудах, кудуху!
Алёша, спаси Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!

Алёша никак не мог долее оставаться на своём

месте… Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами. — Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Кудах, кудах, кудуху!
Не поймала ты Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка вне себя была от досады!

— Руммаль пойсь!– кричала она.– Вот-та я паду кассаину и пашалюсь. Шорна курис нада режить… Он леннива… Он яишка не делать, он сыплатка не сижить.

Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не пустил её. Он прицепился к полам её платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он. — Ты

такая хорошенькая, чистенькая, добренькая… Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алёша вынул из кармана империал[66], составлявшей всё его имение[67], который берёг он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки… Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом… Алёше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке и с твёрдостью отдал чухонке драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он её избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала весёлым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать её кудахтанья.

---

[66] Примечания: 66
Империал — золотая монета стоимостью в десять рублей.

[67] Примечания: 67
Имение — здесь: сбережение.

Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шёлковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперёд по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдёт в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нём учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей, — о чёрной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику… Но делать было нечего:

надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алёша на минуту забыл о своей курочке и подошёл к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом; у крыльца же, вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алёша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать[68] в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшей в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие своё, присела ниже обыкновенного, Алёша, к крайнему удивлению, из-за неё увидел… не шлем пернатый, а просто маленькую лысую головку, набело рас-

[68] Примечания: 68

По старинному этикету при встрече и расставании женщина приседала, делала реверанс, поклон с приседанием.

пудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алёша, был маленький пучок! Когда вошёл он в гостиную, Алёша ещё более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алёше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также парадировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке всё бродило утреннее происшествие с Чернушкой. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты[69], финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке, и только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошёл к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите, — отвечал учитель, — только недолго там будьте: уж скоро сделается темно.

Алёша поспешно надел свою красную беке-

---

[69] Примечания: 69
Бергамот — сорт груши.

шу на беличьем меху[70] и зелёную бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и, сонные, не очень обрадовались принесённым крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алёша долго с ней играл, наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперёд, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звёздочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алёша, Алёша! Останься со мною!

Алёша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алёша пошёл в нижний этаж в спальню, разделся, лёг в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть; наконец сон его преодолел, и он только что успел во

[70] Примечания: 70

Бекеша на беличьем меху — долгополое тёплое пальто, сшитое в талию, со сборками.

сне разговориться с Чернушкой, как, к сожалению, пробуждён был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкой, вошёл к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, не плотно затворявшиеся, падал в комнату бледный луч луны. Алёша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец всё утихло… Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещённую месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться… Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, — и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовёт его: «Алёша, Алёша!»

Алёша испугался!.. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло в голову, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нём дрожало. Он немного приподнялся в постели и ещё яснее увидел, что простыня шевелится… ещё внятнее услыхал, что

кто-то говорит: «Алёша, Алёша!»

Вдруг белая простыня приподнялась и из-под неё вышла… чёрная курица!

— Ах! Это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алёша. — Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алёша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он. — Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься, — продолжала курица, — так поди за мною; я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алёша. — Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь, — сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в сереб-

ряных шандалах[71], не больше как с Алёшин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, будто днём. Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алёша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мной, — сказала она ему, и он смело последовал за нею.

Из глаз её выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя и не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю…

— Дверь заперта ключом, — сказал Алёша; но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась…

Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алёша никогда у них не бывал, но слышал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет

---

[71] Примечания: 71
Шандалы — подсвечники.

прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это увидеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в старушкины покои отворилась. Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов[72], на которых нарисованы были синей муравой[73] люди и звери. Алёша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особенно фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату — и тут-то Алёша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алёша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего, — сказала она. — Берегись разбудить старушек!

Тут только Алёша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась

---

[72] Примечания: 72

Изразец — тонкая плитка из обожжённой глины, покрытая с лицевой стороны глазурью, особым глянцевым сплавом.

[73] Примечания: 73

Муравой — жидким цветным стеклом.

ему как будто восковой. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле неё сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо неё, Алёша не мог утерпеть, чтоб не попросить у неё лапки… Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! Дуррак!»

В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели!.. Чернушка поспешно удалилась, Алёша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась… и ещё долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! Дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. — Ты, верно, разбудил рыцарей…

— Каких рыцарей? — спросил Алёша.

— Ты увидишь, — отвечала курочка. — Не бойся, однако ж, ничего; иди за мной смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго, долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алёша вынужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещённую тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек,

и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперёд на цыпочках, и Алёше велела следовать за собою тихонько-тихонько… В конце залы была большая дверь из светлой жёлтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на чёрную курицу.

Чернушка подняла хохол, распустила крылья… Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, — и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на неё наступали, а она защищалась крыльями и носом: Алёше сделалось страшно, сердце в нём сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришёл он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошёл вверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть во двор, но весь тот день, как нарочно, шёл сильный снег и нельзя было и подумать,

чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что чёрная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем, — прибавила она, — беда не велика, если бы она и пропала; она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алёша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб её нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен её увидеть в следующую ночь, несмотря на то что она пропала из курятника; но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алёша с нетерпением разделся и лёг в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещённую тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне…

Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алёша, Алёша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! Здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости. — Я боялся, что никогда тебя не увижу; здорова ли ты?

— Здорова, — отвечала курочка, — но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алёша испугавшись.

— Ты добрый мальчик, — продолжала курочка, — но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, несмотря на это, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперёд не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда; ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо, — сказала курочка, — увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошёл за курицей. Опять вошли они в покои старушек, но в

этот раз он уж ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе; но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые; попугай смотрел на Алёшу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головами, но он помнил приказание Чернушки и прошёл не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головами. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алёша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещённую тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять — когда

приблизились они к двери из жёлтой меди — два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья… Чернушка сделалась большая и нахохлилась; но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алёша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но не высокую, так что Алёша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате; но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алёшу.

— Побудь здесь немного,– сказала она ему,– я скоро приду назад. Сегодня был ты умён, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы.

После этого Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алёша со вниманием стал

рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе; панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зелёным балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота.

Алёша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях.

Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алёши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча, и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы… Все замолкли, стали к стенам в два ряда и

сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась ещё светлее; все маленькие свечки ещё ярче загорели, и Алёша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошёл в залу человек с величественной осанкой, на голове с венцом, сияющим драгоценными камнями. На нём была светло-зелёная мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей[74] в пунцовых платьях; Алёша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился; король ответил на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алёше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алёша повиновался.

— Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу, и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донёс мне, что ты спас его от неизбежной и же-

[74] Примечания: 74

Пажи — мальчики из дворянских семей, прислуживали знатным господам, королю.

стокой смерти.

— Когда? — спросил Алёша с удивлением.

— Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, кто обязан тебе жизнью.

Алёша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видел.

Сколь для Алёши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счёт того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а чёрную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца…

— Что ты говоришь? — прервал его с гневом король. — Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошёл министр ближе, и Алёша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король. — Если я в силах, то непременно исполню твоё требование.

— Говори смело, Алёша! — шепнул ему на ухо министр.

Алёша задумался и не знал, чего пожелать.

Если б дали ему больше времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головой. — Но делать нечего: я должен исполнить своё обещание.

Он махнул рукой, и паж поднёс золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, усло-

вием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алёша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после этого встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алёшу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алёшу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алёша не знал, на что решиться; наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повёл он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми

увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.

— Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, — отвечал министр.

Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень странными; они были разного цвета: красные, зелёные, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновения. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королём за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами.

Ему это очень показалось смешно, но он из

учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашёл накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно, — сказал министр, — с собою же брать ничего не позволяется.

Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту, — сказал он.

— Очень хорошо, — отвечал министр. — Я думаю, что лошади уже осёдланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь; Алёше подвели палку гораздо более других.

— Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила; она не из самых смирных.

Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под

ним увёртываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою… Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал: они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на это, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались… При всём этом ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился; большой рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесённые им стулья.

— Скажи, пожалуйста, — начал Алёша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их лёгкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы такие? — продолжал Алёша.

— Неужели ты никогда не слышал, что под землёй живёт народ наш? — отвечал министр. — Правда, не многим удаётся нас видеть, однако бывали примеры, особенно в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны; а у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы вынуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И

потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее; ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особенно меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда, но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы вынуждены будем оставить этот край…

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить, — прервал его Алёша. — Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землёй. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда, — отвечал министр.

— Но, — сказал ему Алёша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками-голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом; но в самом начале её рассказа глаза Алёшины закрылись, и он крепко заснул.

Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать… Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привёл в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашёл в кармане бумажку, в которой завёрнуто было конопляное семечко.

«Увидим, — подумал он, — сдержит ли слово своё король! Завтра начнутся классы, а я ещё не успел выучить все свои уроки».

Урок по истории особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой Всемирной Истории, и он не знал ещё ни одного слова! Настал понедельник, съехались пансионеры и начались классы. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно билось сердце… Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зёрнышком… Наконец его вызвали. С трепетом подошёл он к учителю, открыл рот, сам ещё не зная, что сказать, и

безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алёша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшей. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алёша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алёша, особенно в первые недели после получения конопляного зёрнышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы её не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способ-

ностях разнёсся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училища приезжал несколько раз в пансион и любовался Алёшей. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошёл в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде что и они такие же будут учёные, как Алёша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшей начали помышлять о том, чтоб нанять дом, гораздо пространнейший того, в котором они жили.

Алёша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алёшин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алёша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то,

что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учёности, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться, но, к несчастью, самолюбие так в нём было сильно, что заглушало голос совести, и он день от дня становился хуже и день от дня товарищи менее его любили.

Притом Алёша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность ещё более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьёзно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для этого задавал ему уроки вдвое и втрое большие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алёша вовсе не учился, а всё-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее! Куда! Наш Алёша и не

думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алёша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошёл к нему. Алёша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он разинул рот… и не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.

Алёша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слёзы у него от страха навернулись на глазах… Всё тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алёша? — закричал учи-

тель. — Зачем вы не хотите говорить?

Алёша сам не знал, чему приписать такую странность, сунул руку в карман, чтоб ощупать семечко… но как описать его отчаяние, когда он его не нашёл! Слёзы градом полились из глаз его… Он горько плакал и всё-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алёша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню, — сказал он, — и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алёшу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зёрнышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зёрнышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти во двор,

так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зёрнышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он. — Любезный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое зёрнышко! Я, право, вперёд буду осторожнее…

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошёл учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алёши.

Алёша, громко всхлипывая, вынужден был сказать, что не знает.

— Ну так оставайтесь здесь, пока выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил опять одного.

Алёша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он не знал более двух или трёх страниц, да и то плохо. Когда

пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришёл опять учитель.

— Алёша! Знаете ли вы урок? — спросил он. И бедный Алёша сквозь слёзы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придётся вам просидеть здесь на хлебе и на воде, — сказал учитель, пожелал другим детям спокойного сна и удалился.

Алёша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все его жалели, и это ему служило утешением; но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отвернулся, не отвечая. Алёша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алёша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лёг он в свою постель, но никак не мог заснуть.

Долго лежал он таким образом и с горестью

вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог! «И Чернушка меня оставила», — подумал Алёша, и слёзы вновь полились у него из глаз.

Вдруг… простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно, как в первый тот день, когда к нему явилась чёрная курица. Сердце в нём стало биться сильнее… Он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати; но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса…

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела чёрная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алёша вне себя от радости. — Я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет, — отвечала она, — я не могу забыть оказанной тобой услуги, хотя тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь… я не узнаю тебя!

Алёша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним

разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алёша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне всё, что тебе о нас известно… Алёша! К теперешним худым свойствам твоим не прибавь ещё худшего — неблагодарности!

Алёша с восхищением взял любезное своё семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду…

— Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку, и потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собой. Но прощай! Пора нам расстаться!

Алёша, оставшись один, начал рассматривать своё зёрнышко и не мог им налюбоваться. Те-

перь-то он совершенно спокоен был насчёт урока, и вчерашнее горе не оставило в нём никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, — и мысль, что он опять возьмёт верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.

«Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он. — Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут…»

Увы! Бедный Алёша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать с того, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алёшу позвали наверх. Он вошёл с весёлым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю, — отвечал Алёша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алёша гордо

посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёшин.

— Вы знаете урок свой, — сказал он ему, — это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его, — ответил Алёша.

— Быть не может! — прервал его учитель. — Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алёша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру.

Но тут вдруг все дети, огорчённые его надменностью, закричали в один голос:

— Он неправду говорит; он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель. — Когда выучили вы урок?

Но Алёша не прерывал молчания: он так поражён был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счёл за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы ещё увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам. — Запрещаю всем вам говорить с Алёшей до тех пор, пока он совершенно исправится; а так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги… Алёша был в отчаянии! В первый ещё раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алёшу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться…

— Надобно было думать об этом прежде, — был ему ответ.

Слёзы и раскаяние Алёши тронули товарищей, и они начали просить за него; а Алёша, чувствуя,

что не заслужил их сострадания, ещё горше стал плакать. Наконец учитель пришёл в жалость:

— Хорошо! — сказал он. — Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтоб вы перед всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок?

Алёша совершенно потерял голову… Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о чёрной курице, о рыцарях, о маленьких людях…

Учитель не дал ему договорить…

— Как! — вскричал он с гневом. — Вместо того чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня ещё вздумали дурачить, рассказывая сказку о чёрной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети! Вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алёшу высекли!

С поникшей головой, с растерзанным сердцем Алёша пошёл в нижний этаж — в спальные комнаты. Он был как убитый… стыд и раскаяние наполняли его душу! Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман… Конопляного зёрнышка в нём не было! Алёша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно.

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лёг в постель; но заснуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении своём! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зёрнышко возвратить невозможно.

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати… Алёша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза… Он боялся увидеть Чернушку!

Совесть его мучила.

Он вспомнил, что ещё вчера ввечеру так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, и вместо этого… что он ей теперь скажет?

Некоторое время лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни… Кто-то подошёл к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени: «Алёша, Алёша!» Но он стыдился открыть глаза, а между тем слёзы из них выкатывались и текли по его щекам…

Вдруг кто-то дёрнул за одеяло… Алёша невольно проглянул, и перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в чёрном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном

шейном платке, точно как он видел её в подземной зале.

— Алёша! — сказал министр. — Я вижу, что ты не спишь… Прощай! Я пришёл с тобой проститься, больше мы не увидимся!..

Алёша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он. — Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобой, но я жестоко за то наказан!

— Алёша! — сказал сквозь слёзы министр. — Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобой на самое короткое время. Ещё в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слёзы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так спокойно!..

Алёша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух…

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алёша увидел, что они были скованы золотой цепью…

Он ужаснулся!..

— Твоя нескромность — причина, что я осуждён носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алёша! Твои слёзы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моём несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колёс и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра-Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алёша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алёшу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алёша, с помощью Божией, выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжёлым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о чёрной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алёша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал, — ви-

жу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слёзы, — ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — поди-

те вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдёмся; может быть, что-нибудь и найдём.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил ещё в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошёл один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришёл генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изме-

нился от аппетита.

Зашёл генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

— Да вот нашёл старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днём плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растёт? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала её изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как всё это

сделать?

— Как всё это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом, — ведь этак мы друг друга съедим! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-

нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаёте, идёте в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!»

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, ещё производят соки, и так далее, покуда наконец

соки совсем не прекратятся…

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

— Тьфу!

Одним словом, о чём ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это ещё более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и „шекснинска стерлядь золотая“, и питомец лесов кавказских — фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочёл следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, кото-

рого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочёл:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрёл следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры, — всё свидетельствовало о еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же… мужика?

— Ну да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрёпанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навёл их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок!– накинулись они на него. — Небось и ухом не ведёшь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие.

Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез спервa-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потёр их друг об дружку — и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развёл огонь и напёк столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадёшь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твоё усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде верёвочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, раз-

мочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру верёвка была готова. Этою верёвкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошёл день, прошёл другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы весёлые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всём готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских ведомостях» повествуют…

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от

доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

* * *

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Ещё как жалко-то! Особливо, как четвёртого класса, так на одно шитьё посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на верёвке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребёт да гребёт, да кормит генералов селёдками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая

Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да весёлые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

Премудрый пискарь

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аредовы веки[75] в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло[76] не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,– говорил старый пискарь, умирая,– коли хочешь жизнью жуировать[77], так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернётся — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешнёй пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой

---

[75] Примечания: 75
А́редовы веки жить (прожить)– очень долго жить.

[76] Примечания: 76
Хайло — рот.

[77] Примечания: 77
Жуировать — вести праздную жизнь.

драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и наконец… уду! Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты… Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчёт уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он, — потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в неё вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счёт потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать,

ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают… «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут ещё поддают… Слышит — «костёр», говорят. А на «костре» на этом чёрное что-то положено, и в нём вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котёл», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котёл» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунётся, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунётся — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастёт!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки

— домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает…

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чём она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещённый, умеренно-либеральный, и очень твёрдо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, — сказал он себе, — а не то как раз пропадёшь!» — и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в неё было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчёт житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днём — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около

полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днём забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернётся на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются.

Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашёлся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему

кто. В карты не играет, вина не пьёт, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а ещё раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живёт...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевёлся бы!»

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него её нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены её были здоровы и бодры,

нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.

Всё это представилось до того отчётливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезука я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал?

кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, измождённый, никому не нужный, лежит и ждёт: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придёт: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешнёй не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не

ест, не пьёт, никого не видит, ни с кем хлебасоли не водит, а всё только распостылую свою жизнь бережёт?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шёпоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешнёй перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность,– свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же ещё и *премудрого?*

Вклейка



Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая Шейка»



Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке»



Бажов П.П. «Про Великого Полоза»



Бажов П.П. «Серебряное копытце»



Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»



Гаршин В.М. «Сказка о жабе и розе»



Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»



Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители»